

Введение

Первая мировая война стала событием, на долгие десятилетия определившим вектор развития Европы. Еще большую роль она сыграла в судьбе России, став колыбелью российской революции и во многом определив формы революционного насилия как в разрушительном, так и в созидательном измерениях. Не случайно Э. Хобсбаум связывает с Первой мировой крушение западной цивилизации XIX столетия и начинает отсчет «короткого XX века», а также обращает внимание, что «для людей, родившихся до 1914 г., слово „мир“ обозначало эпоху до начала Первой мировой войны»¹. Подобные ощущения были характерны для населения разных стран — участниц мирового конфликта. А. А. Ахматова вспоминала окончание своего дачного сезона 1914 г.: «Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города»². Период 1914–1918 гг. изменил мир, сознание современников, восприятие исторического времени и потому изучение ментальных процессов представляется исключительно важным для понимания истории всего XX в.

Вместе с тем исследование тех или иных пластов массового сознания — политического, повседневного, религиозного — показывает, что ментальный кризис назрел еще на рубеже XIX–XX вв., он виден в столкновении традиционной культуры и модерна. В России этот конфликт проявился особенно остро ввиду активного демографического переформатирования общества, запущенного «великими реформами». Хлынувшая в города масса молодого крестьянства несла с собой потенциал архаичного бунтарства, пространство города становилось полем столкновения разных культур. Однако не избежали культурного раскола и старые городские элиты: поиски новых, современных форм самовыражения далеко не всегда встречали понимание среди

¹ Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 1914–1991. М., 2004. С. 32.

² Ахматова А. Избранное. М., 1993. С. 10.

консервативной общественности. В 1905–1907 гг. усилились социально-политические противоречия: самодержавная власть не желала мириться с парламентским статусом Государственной думы, провоцируя конфликт с общественными организациями, деревня болезненно переживала столыпинские преобразования, кризис взаимоотношений как с властью, так и с прихожанами переживала Церковь. Эти и многие другие проблемы были усугублены начавшейся мировой войной.

Настоящее исследование посвящено изучению массовых настроений российского общества в 1914–1918 гг. Понятие «массовые настроения» употребляется в науке достаточно давно, со времен Платона и Аристотеля. С его помощью определяются те или иные политические симпатии народа, вместе с тем подчеркивается их временный, подчас стихийный характер. В русской исторической традиции изучение настроений связано с трудами В. О. Ключевского. В «Курсе русской истории», описывая настроения общества после Смуты, историк охарактеризовал их с помощью таких категорий, как тревога, страдание, терпение, недовольство, раздражительность, впечатлительность, тем самым подчеркнув их чувственно-эмоциональную природу¹. На рубеже XIX–XX вв. изучение массовых или общественных настроений получило толчок в социальной психологии, в качестве обобщающего появился термин «массовая психология». Г. Лебон основополагающими элементами «психологии масс» называл как рациональные идеологические конструкции (политические, религиозные), так и иррациональные чувства, эмоции². В XX в. в исторической науке массовая или общественная психология изучалась, как правило, путем исследования народной ментальности или общественного сознания. Вместе с тем между этими понятиями имеются принципиальные различия: в то время как менталитет народа может основываться на неотрефлексированных, но закрепленных в традициях, обычаях и практиках императивах, в основе массового сознания лежит осознанная коллективом, отрефлексированная установка, ценность. В отличие от термина «менталитет», размывшегося на протяжении его изучения в XX в., понятие «массовые настроения» кажется более предпочтительным, особенно с учетом перспектив развития эмпирического направления в истории. В сравнении с ментальностью коллективные настроения отличаются большей динамичностью, подвижностью, а потому лучше передают отношение тех или иных социальных групп к меняющимся событиям социально-политической истории.

Следует отметить, что в современной социально-психологической литературе «массовое сознание» противопоставляется «коллективному сознанию» и «общественной психологии». Определяющим здесь выступает понятие массы

¹ См.: Ключевский В. О. Курс русской истории.

² См.: Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.

(толпы) как специфической социально-психологической общности, в поведении которой большую роль играют стихийные факторы. В этом плане массовое сознание и массовое настроение оказываются не равнозначными, а подчиненными терминами. Так, массовые настроения становятся элементом массового сознания в работах Д. В. Ольшанского, который в качестве структурных компонентов последнего выделяет первичный эмоционально-действенный уровень и вторичный рациональный: «В основе массового сознания обычно лежит яркое эмоциональное переживание некой социальной проблемы, вызывающей всеобщую озабоченность. Это может быть война, революция, масштабный экономический кризис и т. д. Крайняя степень переживания проблемы выступает как системообразующий фактор массового сознания... Оно порождает потребность в немедленных действиях — потому и определяется как эмоционально-чувственная основа (иногда — как „ядро“) массового сознания... На основе „ядерного“, базисного эмоционально-действенного уровня постепенно образуется более рациональный уровень... По своему психологическому составу рациональный уровень массового сознания включает в себя более статичные (типа оценок и ожиданий, ценностей и „общих ориентаций“) и более динамичные (типа массовых мнений и настроений) компоненты»¹. При этом Ольшанский подчеркивает важность изучения именно массовых настроений тем, что они являются переходными состояниями от непосредственных эмоций к осознанным мнениям, предшествующим массовым действиям². Отметим, что на практике «осознанное мнение» не всегда является обязательным условием для перехода к действию — примеры массовых бунтов демонстрируют типы аффективного поведения, — а потому констатация переходного состояния «настроения» может вызывать определенные вопросы. Тем не менее это лишь доказывает важность изучения данного феномена социальной психологии в историческом контексте.

Изучение массовых настроений предполагает определение форм их выражения, что имеет особенное значение в исторической науке, так как позволяет уточнить источниковую базу работы. Так, настроения могут иметь ментальные формы, выражаться в символических продуктах творческой деятельности (устные, письменные, визуальные тексты), а также непосредственно проявляться в социальных действиях, поступках (жестах) людей. Поэтому помимо исследования непосредственно ментальных элементов массового сознания (идеи, образы, символы) внимание уделено и действенным формам выражения настроений как акции протеста, манифестации (верноподданнические или оппозиционные), погромы и пр.

В монографии присутствует сквозная нумерация семи разделов. В каждом из которых делается акцент на определенной форме выражения массовых

¹ Ольшанский Д. В. Психология масс. СПб., 2002. С. 20–21.

² Там же. С. 140.

настроений, при том что эти формы в качестве «второстепенных» появляются и в других разделах, что обеспечивает системность исследования. В первом разделе, условно посвященном идейным выражениям массовых настроений, изучается парадоксальная природа концепции патриотизма, которую власти и представители различных кругов общественности безуспешно пытались превратить в рациональную политическую идеологию. Выясняется природа социального протеста с точки зрения веберовской теории социального действия. Отдельное внимание уделено разбору и критике концепции «отложенной революции», предполагавшей, что в июле 1914 г. в столице сложилась классическая революционная ситуация, которая не переросла в революцию лишь по причине начавшейся Первой мировой войны. Несмотря на условность данной схемы, она демонстрирует, что революция 1917 г. не явилась порождением исключительно Первой мировой войны. Во втором разделе, «Действо», исследуются массовые акции периода мобилизации, показана их стихийная природа, приводившая к тому, что патриотические манифестации легко превращались в погромы. Кроме того, в данном разделе использован социально-стратификационный подход, позволяющий определить роль и формы отношения к войне различных социальных групп (с точки зрения как классового, так и гендерного деления общества). Третий раздел, «Слово», посвящен восприятию войны и власти носителями устной деревенской культуры, исследуется интертекстуальный характер деревенских слухов, в которых переплетались архетипическомифологические и фактические явления. Здесь же предпринята попытка реконструкции крестьянского мифологического дискурса о войне в форме сказки. В четвертом разделе, «Текст», анализируются слухи в письменных текстах городской среды, указывается на постепенную иррационализацию пространства городских слухов, что, помимо прочего, отражается в росте популярности мистицизма и динамике психических заболеваний, выступающих в качестве лакмусовой бумажки анализа психологического состояния общества в целом. Пятый раздел, «Образ», посвящен визуальным материалам Первой мировой войны, здесь раскрывается источниковый потенциал таких изобразительных документов, как высокая живопись и лубок, журнальная карикатура и почтовая открытка. Обращается внимание на то, что в визуальном пространстве отобразились те же общие тенденции, что были характерны для сельских и городских слухов, в частности интерпретация современности в контексте эсхатологических ожиданий. Шестой раздел, «Символ», относится к сфере политико-символического пространства. В нем произошла окончательная дискредитация категорий «православие», «самодержавие», «народность», и новыми смыслами наполнились иные символы — такие, как, например, Государственная дума. Дума теоретически могла сцементировать власть и общество — она воспринималась последним в качестве альтернативы катастрофы, но власть относилась к Думе враждебно. В седьмом разделе, «Эмоции», рассматривается

психическо-эмоциональное измерение российской революции, анализируются слухи в качестве революционного фактора, образы, возникавшие на определенных этапах, выстраивается эмиологическая периодизация 1917-го — начала 1918 г. Изучение психической динамики городских слоев населения заставляет выйти за рамки «малой» революции 1917 г. и проследить процессы (динамика самоубийств, рождение определенных психических теорий) вплоть до окончания Гражданской войны. В заключении рассматриваются ощущения времени обывателями в годы Гражданской войны на календарном, историческом и религиозном уровнях, интерпретируется убийство отрекшегося императора в июле 1918 г. как закономерный и ожидавшийся многими «конец истории».

В качестве ключевых в исследовании выделяются три формы, вынесенные в название книги, — слухи, образы, эмоции. Слухи нам важны как типичный источник информации в условиях информационно-политического кризиса, который способствует формированию искаженных образов, альтернативных официальной пропаганде картин внутренней ситуации в империи, что приводит к выраженному общественному недовольству, эмоциональным всплескам, аффективным действиям, особенно ярко проявившимся в российской революции 1917 г. Тем самым выстраивается последовательность: слух — образ — эмоция — действие.

Источниковая база исследования включает в себя максимально широкий и репрезентативный круг письменных и визуальных документов, среди которых наибольшей важностью обладают те, которые обнаруживают характеристики массового источника, позволяют изучать настроения большинства населения. К таковым следует отнести материалы перлюстрации (по гражданскому ведомству хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде № 102 Министерства внутренних дел, опись № 265, а также письма с фронта из Российского государственного военно-исторического архива, фонда военной цензуры при главном почтамте в Петрограде № 13838, опись № 1, в общей сложности насчитывающие более 100 000 документов¹), протоколы дознаний обвиняемых в оскорблении представителей правящей династии в соответствии со статьей 103 Уголовного уложения (дела из фондов губернских жандармских управлений Государственного архива Российской Федерации, а также доклады по Министерству юстиции из фонда № 1405, описи № 521, дела № 475 и 476 Российского государственного исторического архива, в общей сложности около 1500 дел), лубочные картинки и плакаты (коллекция из фонда Изобразительного отдела Российской государственной библиотеки, коллекция из фонда Российской государственной публичной библиотеки России, собрания

¹ Частично эти документы опубликованы в книгах: Представительные учреждения Российской империи в 1906–1917 гг.: Материалы перлюстрации Департамента полиции / Отв. ред. В. В. Шелохаев, сост. К. А. Соловьев. М., 2014; Письма с войны 1914–1917 / Сост. А. Б. Асташов, П. А. Симмонс. М., 2015.

Государственного центрального музея современной истории России, около 500 изображений¹), а также иллюстрированные почтовые открытки (коллекция из фонда Изобразительного отдела Российской государственной библиотеки, более 500 единиц). Из визуальных источников необходимо отметить и журнальные иллюстрации, в том числе карикатуры. Большой интерес в рамках выбранной темы представляют доносы обывателей в Департамент полиции МВД, также обладающие характеристиками массового источника. По ним можно реконструировать массовые фобии, самая сильная из которых — шпиономания — приобретала характер невротического расстройства (а в некоторых случаях и психического, когда сопровождалась галлюцинациями). Доносы также выявляют издержки патриотической пропаганды. В департаменте полиции отмечали, что «ярый патриотизм» нередко был симптомом умопомешательства. Помимо доносов «бдительных подданных», использовались донесения агентов Охранного отделения. Показательно, что накануне революции 1917 г. они строились вокруг распространенных в обществе слухов, в результате чего власти получали искаженные картины действительности и теряли контроль над ситуацией, что проявилось во властных «конвульсиях» января — февраля 1917 г.

В процессе исследования использовались документы, не являющиеся массовыми, но позволяющие дополнить картину общественных настроений: это дневники современников и мемуары (98 наименований), различные сведения из периодики (криминальная и светская хроника, вести и слухи, бытовые зарисовки из 59 изданий), газетная и журнальная публицистика, отчеты чинов полиции по результатам наружного наблюдения, статистические данные, в которых отражались социальные процессы (статистика самоубийств, душевных расстройств, конфликтов с представителями власти и пр.). Ко многим из них применялся квантитативный анализ с целью выстраивания динамики тех или иных процессов, частотности явлений. Помимо статистических данных, к которым естественно применение количественного анализа, проводился сплошной подсчет упоминаний войны, политических слухов на страницах дневников тех авторов, которые регулярно вели свои записи, что позволило выстроить на их основе динамику настроений. Особенный интерес в этой связи представляли дневники тех российских подданных, которые изначально демонстрировали аполитичность и нехотя обращались к военным или внутривнутриполитическим сюжетам — упоминания в них войны и политических коллизий, как правило, отражали пики общественного беспокойства.

Следует заметить, что источниковый потенциал документов меняется в зависимости от особенностей политической системы государства, поэтому рассматриваемый период условно делится на три этапа: староцензурный (1914–1916),

¹ Коллекция из собрания ГЦМСИР опубликована в двухтомнике «Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны. 1914–1918 гг.» В 2 т. М., 2014; коллекция ГПИБ выложена на сайте <http://vvp.mv.shpl.ru/>.

бесцензурный¹ (1917) и новоцензурный (с 1918). На первом этапе именно цензурно-судебная система собирала документы, отражавшие массовые настроения (перлюстрация, судебные дела, доносы подданных и донесения филеров). В 1917 г. цензура была отменена, но, несмотря на исчезновение прежних групп массовых источников, освобожденная от политического контроля периодика в плане информативности и репрезентативности массовых настроений заняла их место. С 1918 г. (точнее, уже 27 октября 1917 г. в Декрете о печати вводились первые цензурные ограничения) цензура восстанавливается, но появляются «новые» источники — донесения, журналы сотрудников советских надзорно-карательных инстанций (в первую очередь ВЧК).

Тем самым источниковая база исследования позволяет изучить слухи, обрывы, эмоции рассматриваемого периода. Источниковедческий потенциал отражающих их документов раскрывается в основной части исследования, однако сейчас можно сделать несколько методологических замечаний, поясняющих подход к источникам. Прежде всего следует отметить, что материалы перлюстрации, протоколы дознаний, дневники современников интересны своей интертекстуальностью, тем, что включают в себя голоса «молчаливого большинства» — цитируют устные высказывания третьих лиц, т. е. содержат устные исторические источники. Среди последних большое значение для реконструкции массового сознания и настроений имеют слухи, которые выполняют в обществе несколько важных функций. Главная из них — информационная. Слухи содержат актуальную информацию и делают ее массовой, доступной для многих. Другая функция — коммуникативная, когда значение имеет не сама информация, а развитие каналов, по которым она распространяется. Третья функция — алармистская, призванная обращать внимание власти и общества на проблемы, получающие в слухах массовое распространение. Четвертая и наименее очевидная функция — провидческая (часто слухи опережали события, иногда предопределяли их). Кроме того, слухи являются вместилищем народных традиций, представлений, что проявляется в наслаивании архаичных, мифических пластов, интерпретации полученной информации в фольклорном ключе, что повышает их источниковый потенциал.

Слухи не просто искажают информацию, они трансформируют актуальные для обывателей известия в соответствии с массовыми ожиданиями, отражая представления общественного сознания о том или ином предмете. Интертекстуальность слухов отчасти определяется тем, что стимулами для их возникновения и распространения могут выступать как внешние факторы повседневной, политической жизни, так и некие внутренние архетипы, поднимающиеся в кризисные времена из глубин подсознания. Так, например, когда с весны

¹ Как известно, несмотря на формальную отмену цензуры, в 1917 г. были ликвидированы черносотенные издания. Кроме того, театральная милиция осуществляла в 1917 г. цензуру по вопросам нравственности.

1915 г. начинается «сахарный голод», рождается слух о том, что весь сахар отправляет в Германию императрица-шпионка (Александра Федоровна в представлениях городских слоев, Мария Федоровна — сельских). Здесь мы наблюдаем в первую очередь повседневный стимул слуха. Однако общее недоверие к императрицам поднималось из архетипического уровня, главным аргументом их предательства выступало утверждение, что они «плачут, когда бьют немцев, и смеются, когда убивают наших», что уходит корнями в мифологические описания природы дьявола. В этой же группе находятся эсхатологические слухи о том, что Николай II являлся Антихристом.

Некоторые слухи, оперировавшие архетипическими образами, настолько укоренились в массовом сознании, что превращались в мифологемы. Одним из ярких примеров стал появившийся в 1917 г. слух о «черных авто», сохранявшийся в разных вариациях на протяжении всего XX и даже начала XXI в. («черная маруся», «черный воронок», «черная волга»).

К слухам как историческому источнику всегда было приковано внимание историков. Еще у Гомера слух выступает источником знания, когда Антиной обращается к Телемаху, чтобы тот отправился «в Пилос священный и слухи собрал об отце многославном». Телемах собирает слухи об участии отца в Троянской войне («по слухам, / вместе с тобою под Троей сражался и город разрушил»). Слухи выступают источником информации, могут как относиться к актуальным событиям, так и выступать легендами прошлого. Важно, что для Гомера слух не равнозначен вымыслу и дезинформации, это всего лишь способ передачи сообщения. В исторической науке, в отличие от литературного эпоса, с самого ее зарождения авторы противопоставляли информацию устную, рассказанную третьими лицами, и информацию, полученную опытным путем, из свидетельств непосредственных участников событий. Некоторое пренебрежение образованного человека к слухам обнаруживается в древнерусской книжной культуре: «Я, грешный, первый был очевидец, о чем и расскажу не по слухам, а как зачинатель всего того», — писал автор «Повести временных лет». Еще раньше правдивость слухов была поставлена под сомнение Геродотом: «Что до меня, то мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан»¹.

В XX в. благодаря развитию социальной психологии изучение слухов получает необходимую методологическую основу. В 1902 г. немецкий ученый В. Штерн исследовал способность слухов исказить информацию по принципу «испорченного телефона» (в западноевропейской традиции — «китайского телефона»)². Со временем исследователи слухов перестали ограничивать их роль исключительно функцией передачи информации, обращая внимание

¹ Геродот. История. Кн. VII. 152.

² Stern W. Zur Psychologie der Aussage. Experimentelle Untersuchungen über Erinnerungstreue. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Vol. XXII. Cahier 2/3, 1902.

на то, что слухи отражают психологическое состояние социума. Г. Олпорт и Л. Постман показали, что функционирование слуха предполагает три действия: «выравнивание» (исключение малозначимых, лишних деталей), «обострение» (концентрация и выделение общественно важных деталей) и «ассимиляция» (искажение информации в результате подсознательной интерпретации)¹. В 1944 г. Р. Кнапп в «Психологии слухов» отметил такую их важную функцию, как выражение эмоциональных потребностей общества². Д. В. Ольшанский, отмечая, что слухи практически никогда не бывают достоверными (само по себе не слишком корректное замечание, так как проблема достоверности как тождественности слова событию относительна), считает, что в слухах присутствует сильный эмоциональный компонент, который компенсирует недостаточную достоверность³. С точки зрения эмоциональных характеристик слухов Ольшанский выстраивает не бесспорную классификацию: слухи-желания, слухи-пугала, агрессивные слухи, нелепые слухи⁴. Объясняя последний тип, психолог замечает, что они особенно характерны для периодов «перелома массового сознания, когда люди находятся в растерянности в связи с тотальной сменой систем ценностей», и в качестве примера приводит булгаковское описание московских слухов 1920-х гг.: «Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому! Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось». Однако данный пример представляется некорректным ввиду того, что упоминание «небесной оси» является не нелепым, а вполне типичным способом интерпретации настоящего с помощью эсхатологического фольклора. В этом аспекте слухи следует отличать от других форм бытования устной информации — городских легенд, мифов, сказок и пр. Очевидно, что для более полного понимания феномена слухов социально-психологическую теорию необходимо существенно дополнять историческим, фольклористическим, этнографическим материалом. В целом следует признать, что в социальной психологии и современной фольклористике слухи давно уже стали вполне традиционным предметом исследования⁵.

В исторических исследованиях слухи стали привлекать внимание ученых с конца XIX в. В. О. Ключевский по слухам реконструировал массовые настроения XVII в. Особое внимание слухам было уделено в трудах представителей французской школы «Анналов». М. Блок, участвовавший в Первой мировой

¹ Allport G., Postman L. Psychology of Rumor. Russell and Russell. 1951. P. 75.

² Knapp R. A Psychology of Rumor. Public Opinion Quarterly. 8/1. 22–37. 1944.

³ Ольшанский Д. В. Психология масс. С. 276.

⁴ Там же. С. 276–279.

⁵ См. социально-психологическую историографию слухов в статье: Осетрова Е. Слухи в современной социокультурной среде: историографический обзор // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 55–82.

войне, вспоминал, как в среде немецких солдат слухи о наличии бойниц в домах бельгийских крестьян, порожденные незнанием местных архитектурных традиций, катализировали страх и ненависть к мирному населению¹. Французский историк обратил внимание на то, что окопная повседневность, архаизировавшая массовое сознание, приводила комбатантов к мысли, что правдой может быть все что угодно, кроме печатного слова. Подобное противопоставление устного слова и письменного или, шире, «устной культуры» и «письменной культуры» представляется особенно важным в контексте настоящего исследования. В 1932 г. Ж. Лефевр исследовал феномен массового распространения слухов накануне Французской революции. Эти слухи породили «великий страх», ставший катализатором революционной активности².

С конца 1990-х гг. слухи как индикатор массовых настроений в период 1914–1917 гг. привлекают внимание российских исследователей. В 1999 г. Б. И. Колоницкий исследует отражение процесса десакрализации монархии в политических слухах в годы Первой мировой войны, еще раньше, в 1997 г., В. П. Булдаков показывает роль слухов в революционном насилии 1917 г.³ В 1997 г. В. В. Кабанов одним из первых акцентировал внимание на роли слухов о недостатке хлеба в событиях 23 февраля 1917 г., также он предпринял попытку классификации слухов исходя из их роли в обществе, выполняемых функций⁴. Так, было предложено делить слухи на причины и катализаторы событий, «слухи-формулы», передававшие массовые представления о функционировании какого-то явления, «слухи-легенды», оставшиеся в исторической памяти народа. В качестве другого варианта классификации Кабанов предлагал деление на «оптимистические» и «пессимистические», а также «сбывшиеся» и «несбывшиеся». Последняя особенность слухов нуждается в отдельном пояснении.

Массовые слухи демонстрировали способность массового сознания предчувствовать и предугадывать развитие событий даже в ситуации общественно-политического хаоса тогда, когда сильны ощущения «конца истории» (например, о «красном» и «белом» терроре в ноябре 1916 г., тогда же — о неизбежности революции в 1917 г., летом — осенью 1917 г. — о предопределенности «Корниловского мятежа» и большевистского переворота, в июне 1918 г. — о казни Николая Романова и т. д.). Чувственно-эмоциональная природа слухов предопределяет их чуткость к внешним процессам и оказывается более эффективной в плане прогнозирования, чем попытки рационального анализа. Вместе с тем нельзя отрицать и того, что стихийно распространявшиеся слухи сами могли стать неким

¹ Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1986.

² Lefebvre G. La Grande peur de 1789. Suivi de Les foules révolutionnaires. Paris, 1988.

³ Колоницкий Б. И. К изучению механизма десакрализации монархии (слухи и «политическая порнография» в годы Первой мировой войны) // Историк и революция. СПб., 1999. С. 72–86; Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

⁴ Кабанов В. В. Источниковедение истории советского общества: Курс лекций. М., 1997.

сигналом к действию, предопределить ту или иную развязку. Эмоциональная атмосфера кануна революции, в которой главной эмоцией оказывалось чувство страха, предполагала самые трагические сценарии политической развязки.

Найти объяснения прогностических способностей слухов можно в философско-социологической теории. Австрийский и британский социолог К. Поппер, критикуя историцизм, использовал понятие «Эдипова эффекта» — «влияние предсказания на предсказанное событие (или, шире, влияние информации на ситуацию, к которой эта информация относится); причем несущественно, направлено ли это влияние на осуществление или на предотвращение предсказанного события»¹. Еще раньше У. и Д. Томас в 1928 г. объяснили похожий феномен тем, что события конструируются представлениями людей о них: «Если люди считают ситуации реальными, то они оказываются реальными по последствиям»². На основе «теоремы Томаса» Р. Мертон разработал теорию «самоисполняющегося пророчества» («the self-fulfilling prophecy»), согласно которой ложное предсказание, кажущееся современникам истинным, будет влиять на поведение людей так, что их действия сами приведут к исполнению этого предсказания³. В. П. Булдаков выдвинул оригинальную концепцию «хроники заранее объявленной революции» (оммаж Г. Маркесу), согласно которой слухи подготовили массовое сознание к идее неизбежности революции, тем самым запрограммировав общество на нее⁴.

Изучение визуальных образов также нуждается в методологических пояснениях. Несмотря на модное ныне направление «визуальной истории», в исторических исследованиях «визуальный поворот» все еще не произошел вследствие того, что многие историки, обращающиеся к изобразительным источникам, отводят им второстепенную, иллюстративную роль. В историографии образы изучаются преимущественно имагологическим направлением, в основе которого лежит изучение представлений о «своих» и «чужих». К нему относятся работы таких авторов, как А. В. Голубев, О. С. Поршнева, Е. С. Сенявская, Т. А. Филиппова и др.⁵ Однако имагология далеко не всегда в полной мере раскрывает потенциал изобразительных источников, так как часто ограничивает исследование формальными образами тех или иных (этнических, социальных) групп, тогда как понятие «образа» шире подобного подхода и часто включает в себя абстрактные категории. Для преодоления этого парадокса необходимо признать,

¹ *Popper K.* Нищета историцизма // *Вопросы философии.* 1992. № 8. С. 49–79.

² *Thomas W.I., Thomas D.S.* The child in America: Behavior problems and programs. New York: Knopf, 1928. P. 571–572.

³ *Merton R.K.* Social Theory and Social Structure. Free Press, 1968. P. 477.

⁴ *Булдаков В. П.* Метанарративы и микронарративы Русской революции: к переосмыслению сложившихся представлений // *Столетие русской революции 1917 года и ее значение в мировой истории и культуре.* Budapest: Russica Pannonicana, 2018. С. 77–90.

⁵ См.: *Сенявская Е. С.* Противники России в войнах XX века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006; *Голубев А. В., Поршнева О. С.* Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2011; *Филиппова Т. А., Баратов П. Н.* «Враги России». Образы и риторика вражды в русской журнальной сатире эпохи Первой мировой войны. М., 2014.

что визуальный образ является текстом, обладающим интертекстуальностью. В нем (в зависимости от типа, жанра изобразительного произведения) присутствует авторский интенциональный пласт (осознанный или нет), обнаруживаются явные или скрытые, на уровне содержания или формы, переключки с предшествующими художественными произведениями, а также косвенно или прямо отражается современная эпоха (так как автор творит в конкретно-исторических условиях). Тем самым художественное произведение говорит не только о самом авторе, но и о его времени. Отдельной проблемой является соотношение визуального и вербального текстов. В некоторых случаях текст задает вектор интерпретации, дешифровки визуального сообщения, а в других, наоборот, может уводить зрителя с верной дороги (особенно это касается случаев, когда название произведения пишется для цензора). Имеющиеся подписи к картине, рисунку вовсе не исчерпывают содержания произведения. Современные исследователи признают, что визуальный образ несет в себе больше информации, чем вербальный текст¹. Большое значение имеет анализ собственно визуального языка, который может нести в себе информацию о способах эмоционального коннотирования тех или иных образов, позволяет уйти от денотативного (буквального) прочтения изобразительного сообщения.

Для полного раскрытия источникового потенциала изобразительного текста историкам следует использовать наработки смежных дисциплин — искусствоведения, культурологии, философии и культурной антропологии. На протяжении XX в. методы работы с визуальными произведениями постоянно совершенствовались. Так, Э. Панофски от иконографического метода перешел к иконологическому, совершенствуя выдвинутые А. Варбургом идеи, Р. Барт применил методы структуралистского и постструктуралистского подходов к визуальному сообщению, У. Митчелл, указав на текстуальность изображения и визуальность вербального текста, призвал совершить пикториальный поворот и т.д.² В 2001 г. Дж. Роуз выпустила научно-методическое пособие «Визуальная методология. Введение в интерпретацию изобразительных произведений», в котором продемонстрировала способы анализа изобразительных источников с точки зрения семиологии, психоанализа, дискурс-анализа, а также особенностей контент-анализа³. В 2018 г. Н. Н. Мазур подготовила антологию визуальных исследований, в которую вошли ранее не публиковавшиеся на русском языке статьи ведущих западных исследователей⁴.

¹ Голиков А. Г., Рыбаченко И. С. Смех — дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков в политической карикатуре. М., 2010. С. 5.

² Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009; Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989; Барт Р. Camera lucida. М., 1997.

³ Rose G. Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of the Visual Materials. London: SAGE Publication, 2001.

⁴ Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / Ред.-сост. Н. Н. Мазур. М.; СПб., 2018.

Содержание

Введение	5
Раздел 1. Идея. «Патриотические» настроения 1914 г.: историографические стереотипы и их критика	26
Концепция «отложенной революции» и ленинская теория «революционной ситуации» как модель описания настроений 1914 г.	27
Формы рабочего протеста: парадоксы целерационального и аффективно-эмоционального социального действия	37
Дискуссии о феномене «патриотического настроения 1914 г.»: эмоции, идеи, патологии	55
Идейные противоречия «патриотизма 1914 г.» и психологическая структура массового «патриотического» сознания	70
Раздел 2. Действо. Мобилизация общества в гендерно-возрастном измерении: от манифестаций взрослых к детскому протесту	83
Парадоксы «патриотических» манифестаций	84
«Успехи» мобилизации: явка и формы протеста	112
Женский взгляд на мобилизацию: от слез к погромам	148
Студенческий «патриотизм»: добровольчество и оппозиционность	167
Детское восприятие войны: героическая эйфория или психотравма?	186
Раздел 3. Слово. Устная деревенская культура и война	223
Особенности крестьянской ментальности начала XX в. в современной историографии	224
Оскорбители и оскорбленные: народ и власть в свете статьи 103 Уголовного уложения 1903 г.	247
Образы войны и власти в крестьянском политическом сознании: от неприятия войны до коллаборационистских настроений	279
Сказка о царе и мировой войне, или реконструкция крестьянского мифологического дискурса	288
Раздел 4. Текст. Письменная городская культура и иррационализация массового сознания обывателей	319
Патриотизм как фобия городских обывателей: от антинемецких настроений к слухам о предательстве в верхах	320
Слухи и настроения городских обывателей: между войной, политикой и повседневностью	357
Мистификация общественного сознания: от оккультизма к слухам о «спиритическом министерстве» и рождению лжепророков	410
«Красный смех»: война и психические расстройства	430

Раздел 5. Образ. Визуальное пространство Первой мировой войны	453
Искусство как источник: проблемы «визуальной истории» и «интеллигентоведения»	455
Художественные образы эпохи: между патриотическим миражом и реальностью	465
Провидческая функция искусства: отражение эпохи и предчувствия революции в живописи авангарда	494
Лубочная продукция: между пропагандой и отражением массовых настроений	522
Открытка как форма сентиментальной пропаганды: от символической политики к манипуляциям детскими образами	563
Журнальная карикатура: от смеха к страху	593
Раздел 6. Символ. Православие — самодержавие — народность: дискредитация и инверсия патриотических смыслов	618
Церковь, образы духовенства и народная религиозность: расцерковление прихожан и вера в окопах	619
Царь в кривом зеркале: визуальное мышление и крах стратегии демократической фоторепрезентации	658
Народ как антигерой: десакрализация образов русских воинов и сестер милосердия на фоне патриотической пропаганды	687
Государственная дума как символ: надежды и страхи общества и власти	731
Война и символы Апокалипсиса: технофобии в российском обществе в контексте миллениаристских предчувствий	761
Раздел 7. Эмоция. Психологическое измерение российской революции	797
Информационный кризис кануна революции: слухи как революционный фактор	798
Пулеметы и белые кресты: факторы невротизации обывателей в период «медового месяца» революции	818
«Черное авто» как символ революционного насилия: от слуха к мифологеме	832
Эмоциональная история революции и журнальная карикатура	858
От «революционного психоза» к «контрреволюционному комплексу»: психическая теория и психоэмоциональная динамика российского общества	909
Вместо заключения: смерть царя как «конец истории», или время и его ощущения в условиях эсхатологических предчувствий Гражданской войны	929
Список иллюстраций	966
Именной указатель	973